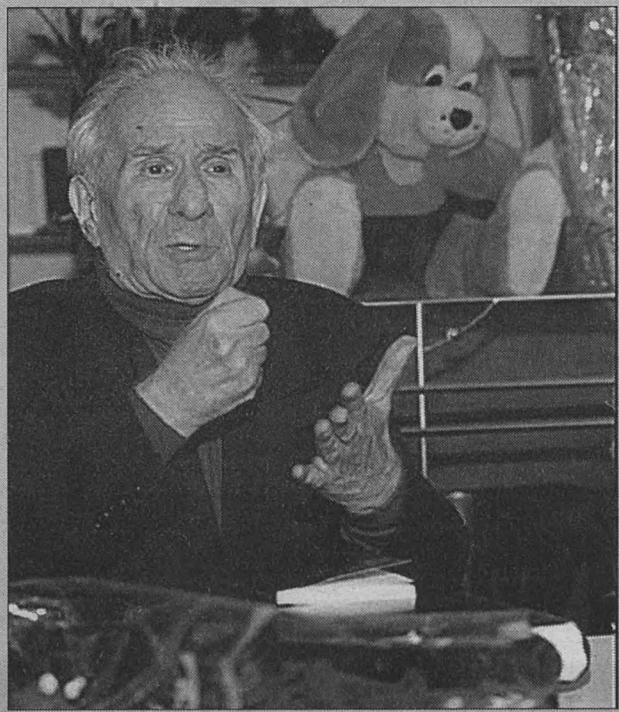


Разговор замечательного драматурга

с обозревателем

«Новой газеты»

в Ленинграде-Петербурге накануне Дня Победы



— Александр Моисеевич, вы едва ли не единственный писатель-фронтовик, для кого тема войны не стала главной.

— У меня нет ностальгии по войне.

— Она же ностальгия по молодости...

— И по молодости. Моя молодость протекала довольно уютно. Я ни разу не видел в глаза своей матери. Она умерла в Минске. Ни разу не видел отца. Он женился на женщине, которая поставила условие: без ребенка. Я жил у дальней довольно богатой родни на правах бедного родственника. В школе мне собирали как неимушечу на ботинки. Когда ходили смотреть «Чапаева», за меня скидывались по десять копеек. Я постоянно страдал от унижения. И мечтал почему-то о деревне, заваленной снегами, где небо ниже над землей, чем в городах... Кончил полугодовые учительские курсы, 18 рублей хватало до Уваровки, недалеко от Москвы. Там меня взяли учителем — сразу после десятого класса. В первый же день напоили, и началась такая грязь... Все стучали друг на друга и требовали того же от меня. А, думаю, хрен с ним, пойду в армию — пусть там решают, что делать со мной. Это было за два года до войны, мне еще не исполнилось семнадцати. Казарма меня добила... И вот сбежал я в самоволку, на свидание. В то время как раз... ой, забыл чин... ну, начальник всей армии...

— Маршал?

— Да, маршал Тимошенко издал указ: если рядовой не подчиняется приказу офицера, тот может «воздействовать физически». По морде. Если же боец вновь не подчиняется, офицер имеет право стрелять.

— И вы попались?

— Да, напоролся, помню, на капитана Линькова. «Боец, стойте, кругом!» Но, наверное, устаешь от долгого унижения. «Что, стрелять в меня, сука, будешь? Ну и стреляй!» И я пошел. Конечно, он не выстрелил.

— А что за девушка, ради которой вы так рисковали?

— Смешная девочка... Пережидаю дни до призыва у родни. Вдруг звонит какая-то

И стала разыгрывать меня, так забавно! А потом предложила встретиться. Тут надо кое-что понять. Нечаянно я услышал, как мой троюродный брат-красавец сказал: «Интересно, Шурика сможет когда-нибудь полюбить женщина?» Я взял маленькое зеркальце, посмотрел на себя в профиль и понял: не сможет. Женщина в белом, как снежная королева, такая прекрасная, что я могу только боготворить ее издали... И вот та девушка, что звонила, представилась мне такой. И я говорю: не надо встречаться. За четыре дня до призыва! Вы, говорю, придете вся в белом, прекрасная, а я — вы не знаете, что увидите... Словом, полный идиот... Болван, точнее. А она в ответ: да не такая уж я белая и прекрасная, я как раз черненькая, маленькая. Ну мы и встретились. И вот призыв. Женщины провозжают нас, бегут за грузовиками, плачут. А моя некрасивая не плачет. Кричит на бегу: «Видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена!»

— «Пять вечеров», я помню...

— Да... Описал. А тогда думаю себе: жена? Уже? Да пошла ты на фиг, черненькая, маленькая, почему не беленькая и не прекрасная!

— Чем же кончилась история с капитаном Линьковым?

— Да ничем особенно. Считали потом малость чокнутым. Но относились, хорошо.

— А дедовщина?

— Речи быть не могло!

— Это почему же?

— Дисциплина была железная. Немецкая. Мы ж дружили с Германией. Брали пример.

— А ведь много написано о том, что у нас, по сути, не было армии. Ни техники, ни обмундирования, ни подготовки.

— Верно, военной машины не было близко. Все заменяла страшная дисциплина. Страшная и глупая. Нас не учили стрелять, не учили ползти по болоту с полной выкладкой, а учили шагистике и послушанию. Не было салаг и дедов. Все одинаково унижены и одинаково мечтают о свобо-

де. Потом, во время войны, рядовые стреляли в спину ненавистным офицерам... А на срочной службе мы жили ожиданием, когда же кончатся эти два года. Но за вторым годом пошел третий, четвертый, пятый...

— С каким чувством вы шли на фронт, когда поняли, что свобода не светит, а светит совершенно другое?

— Вот именно, что свобода! Это было в Полоцке. Всех нас повели в Дом Красной армии смотреть кино. А я потихоньку сбежал посмотреть на людей, честно говоря, на женщин... И вдруг ребята валят — счастливые, обнимаются и кричат с восторгом: «Ура! Война!» Начало войны означало конец службы. Свободу от казармы. Идем на запад, увидим другие страны, две-

В своих разлапанных сапогах ты сейчас побежишь в атаку по полю, где вперемешку лежат враги наши заклятые и мы, прекрасные. Мой лучший друг Суродин с горьковского завода остался там, на поле, откуда меня вынесли: я видел, как он лежит на животике и в спине у него воронка. Насквозь. А мы — вперед, вперед, и все вперемешку, и страшная, разрушительная радость, когда смерть берет не тебя, а другого... И уже глотки раскрываются, чтобы кричать, чтобы они там, далеко, испугались: сколько нас, какие мы страшные... Я люблю одну строчку Тарковского: «И влился голос твой в протяжный и печальный стон «ура»... Мы кричали «ура» тенорами... Оставались ли мы людьми? Вот вопрос.

нет, спрашивает: «Ну а живешь-то ты как?» А я говорю: «Как живу? Принял в семь утра, потом допил. Вредно для нутра, зато допинг. Мне уже пора, а вам — рано. Что же до нутра — так там рана. Берегу ее, пою водкой. Вот житье мое. Живу вот как»...

— И это за двоих? Или работа, успех — это доля «того парня», как и смерть?

— Успех? Да, случаются неожиданности. Идешь по Литейному, а навстречу — молодой мужик, здоровый, но лицо сморщенное, испитое. Увидел меня, встал на колени, поднял руки вот так и говорит: «Вы тоже алкоголик!» Значит, кому-то это близко. А другому — другое близко. А кому ничего не близко, прочтает и подумает: что за муть собачья... И правильно. Презираю свою писанину.

— После фильмов и спектаклей, что шли по всей стране, по всему миру, после «Ники»,

в задних рядах присоединили свои аплодисменты к аплодисментам английских буржуазных сынков. Тогда я понял все. Я понял больше, чем понимал народ своим массовым сознанием — глупым и уродливым.

— Как вы думаете, почему именно ветераны, обманутые, обесчещенные, униженные, так горячо поддерживают коммунистов?

— А жизнь кляли — за что? За что боролись? За дерьмо? Лучше сдохнуть, чем признать себе в этом. Я думаю, что со временем массовое сознание будет меняться. Но мы этого не увидим. Потому и будут здоровые мозги у народа, что мы, блядь, вымерем.

— А теперешние ребята — вот они-то марсиане и есть.

— Да! Точно так поменялись полюса человечества.

— Отъезд ваших сыновей был для вас большой драмой?

— Володю, старшего, не выпускали восемь лет. Вот что было драмой. При этом здесь он не мог работать, его область, названия которой я даже не говорю, считалась неперспективной. А там он стал звездой. И Алеша теперь почти такой же знаменитый математик.

— Вы бы хотели жить с ними?

— Я преклоняюсь перед моим старшим сыном. Я даже не пишу ему писем. Я не могу спорить с ним. Рядом с Володей я, как в зоне какого-то мощного интеллектуального излучения. Трудно быть в слишком большой близости от светила...

— А он питает к вам те же чувства?

— Он никогда не сказал бы об этом вслух. Он мог бы сказать обо мне так: «Писатель, временно известный в районе Касриловки»...

— Мне кажется, вы немножко культивируете среди своих близких и вообще у публики такое отношение... Унижение паче гордости. Нет?

— Высокое мнение о себе для меня — самое отвратительное качество. Неуверенность в себе — самое понятное и близкое мне чувство.

— И ваша мировая известность не поколебала вашей неуверенности в себе?

— Нет. Что присуще, от ситуации не зависит.

— Фундамент личности?

— Совершенно верно. Мне на минное поле ступить было легче, чем на огромную сцену Большого театра, когда вручали «Триумф». Путин, вся элита... Что я нес! Кричал что-то про старый-престарый рассказ Битова «Пенелопа»... Потом не мог найти ступенек: все одинаково залито алым, я спотыкаюсь, возвращаюсь назад, чувствую себя полным идиотом...

Полунин мне сказал: ты отнял у меня роль, я хотел сыграть маленькую клоуну, но после тебя это уже невозможно.

— Александр Моисеевич, это правда, что вы проиграли «Триумф» в лохотрон?

— По-моему, это была какая-то другая премия... Мне еще Путин сказал тогда: «Что-то мы стали с вами чаще встречаться»... Да, лохотронщики разыграли такую блистательную семейную сцену, что мне стало их жалко, и я все им отдал. И мне не хватило денег на билет. И тогда они скинулись и отдали мне часть, рублей 150. Благодарно, правда? Мне всех жалко. Бедную врачиху, которая без толку ковырялась с моим несчастным осколком, мачеху мою голодную, жену и ту, другую женщину, и лохотронщиков, и солдат, и алкоголиков в пивной напротив — всех. Ты помнишь «Снежную королеву»? Помнишь, девочка Герда нашла своего мальчика, растопила его сердце, и они, счастливые, уехали в свой Солнечный Узбекистан. Мне всегда было жалко Снежную Королеву. Мою единую в белом, о которой все мечтают, но никто никогда ее не полюбит.

Александр ВОЛОДИН:

ЖАЛОСТЬ И СТЫД — ВОТ ЧТО Я ВЫНЕС С ФРОНТА

три недели — и мы, конечно, побеждаем. Но прошло не две недели. И нашего командира, который был похож на Наполеона и которого мы обожали, расстреляли. Потому что он понимал: не мы самая сильная армия в мире и свободы никакой нет...

— А вы понимали тогда?

— Наше отделение, все девять, думали как один человек. Каждый относился к казарме как к ГУЛАГу, который окружает свободная страна...

— Когда вы поняли, что вся страна — ГУЛАГ?

— Очень не скоро. Мы вырвались на свободу войны. И всё боялись, сидя на линии обороны, что не успеем разгромить этих сук, которые хотят отнять у нас мирную жизнь в нашей прекрасной стране! Но в какой-то миг я увидел: это война с марсианами. Мы сидим на линии обороны, над нами летят какие-то огромные воздушные сооружения. Тихо-тихо. А там где-то, сзади, приглушенные взрывы. Они стреляли из автоматов. А мы из винтовочек. А потом открылось самое страшное. Мы не вперед шли, не на запад, а на восток! Мы были в окружении. И долго-долго мы прорывались. И сколько было дезертиров! И не одолеть этих марсиан.

— Война миров?

— Да. Война миров. Проходили деревнями — и только обгорелые пачки. И ребята, теряя головы, бросались в магазины, хватили бутылки, пили, пили, хватили из касс деньги, деньги, деньги... Но когда доходили до большой, трудной реки — эти деньги выкидывали, они были тяжелые. А крестьянки давали нам молоко за так...

— Вы уже понимали, что все было обманом?

— Конечно. Мне говорил Василь Быков: «Думаешь, кто такой Матросов? Нашли пьяного солдата и бросили на амбразуру...» Много было вранья. А правда была вот такая: «Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв — и лейтенант хрипит, и, значит, смерть проходит мимо.

— Что такое любовь на войне?

— Что значили для нас женщины, рассказать невозможно. Но все эти прекрасные в белом, ночная пытка моего созревания, были не для рядовых. Замечательно рассказал о военной любви Петр Тодоровский. Но у меня другой опыт. Люблю? Кого? Любовнику генерал-майора? Да нет, не бывает так. Любовь на войне досталась генералам. А солдаты смотрели издали. Переписывались, все до одного, с кем угодно! Сочиняли себе любимых, невест...

— Но у вас-то была настоящая невеста?

— Да. Я писал той девочке. Некрасивой. Больше-то некому было. Вот она сейчас прошла там, по коридору.

— Ваша жена теперешняя?!

Вы всю жизнь женаты на одной женщине?

— Вот так, как ни странно. Хотя у меня была и другая семья и младший сын, Алеша. Та женщина, актриса, умерла. И мой старший сын взял Алешу с собой в Америку. Все это — военное похмелье, расплата за глупые и жестокие игры, которые, как казалось многим, война сплещет. Не списала. Сидят старые осколки, шевелятся, бродят и болтают... Вот как у меня в левом легком.

Красивая женщина в резиновых перчатках мяла меня, мяла... Ах, как было больно! А она говорит: «У нас в госпитале нет анестезии. Мы не можем сделать тебе обезболивание. Кричи, легче будет». И резала по живому. Потом оказалось, что осколок-то она мне не извлекла. Он у меня и до сих пор. Оброс кровью, землей, жилами... Мне недавно приснился сон. Мой друг Суродин, которого я оставил с воронкой в спине, спрашивает: «Помнишь, как мы суп ели?» — «Какой суп?» — «Ну, пили еще...» — «А! Пили — конечно, помню!» — «А тост какой помнишь?» И я вспомнил тост: если хоть один из нас останется, чтоб он прожил свою жизнь за двоих! И вот Суродин, которого больше

«За честь и достоинство», после «Триумфа» и чего там еще?

— Я не считаю, что достоинство всего этого. Никогда я не верил в себя. Мне стыдно за все, что я написал. Я не хотел давать Товстоговскому пьесу «Пять вечеров», «Фабричную девчонку» в «Современник»... Просил Олега: выброси в помойку и дай слово, что никому не покажешь! Всю жизнь я прожил в стыде, в неловкости, в неуверенности: не получил, скудно, бездарно, никому не интересно... Вот это мне оставила война. Как будто кого-то все время обманывал, все время лицедействовал... И мне стыдно за мои награды.

— За литературные или за военные?

— Военная одна — «За отвагу». Сидит у меня в легком, никуда не денешься. Но литературные — ведь я знаю, что не достоин их. Их дают не за то, что хорошо написано! Время пришло — вот и дали! Я ненавижу свои руки, которые писали эти слова. Я смотрю на страницу и думаю: вот идиот! Люди награждают друг друга, потому что у каждого втайне есть это чувство нереализованности, каждый ощущает свою бездарность, и нет критериев...

— Я думаю, вы сильно обольщаетесь насчет ваших сограждан. Да и критерии не они устанавливают.

— Критерий на самом деле один. Мой двоюродный брат, режиссер военно-морского театра, однажды сказал: «Художник должен испытать страх смерти». И он его испытал. На подводной лодке. Где и остался навсегда...

— А вы разве не испытывали?

— Испытывал. Да. Но я никогда не умирал по-настоящему...

И радость от того, что «смерть опять проходит мимо», всегда сменялась чувством стыда. Стыдно. Жалость и стыд. Вот что я вынес с войны.

— С чем люди приходили после победы? Какими они заставляли себя, страну, близких?

— Сначала было счастье. Свобода и уверенность, что жизнь будет прекрасной. Мы вернулись в победившую страну — и это было торжество. А потом распинали Зошенко. Я был на этом собрании. Он начал было каяться... И вдруг закричал: «Не мучайте меня! Дайте мне спокойно умереть!» Все сидели, как на похоронах. А Меттер и я — захлопали. И Симонов сказал: два товарища